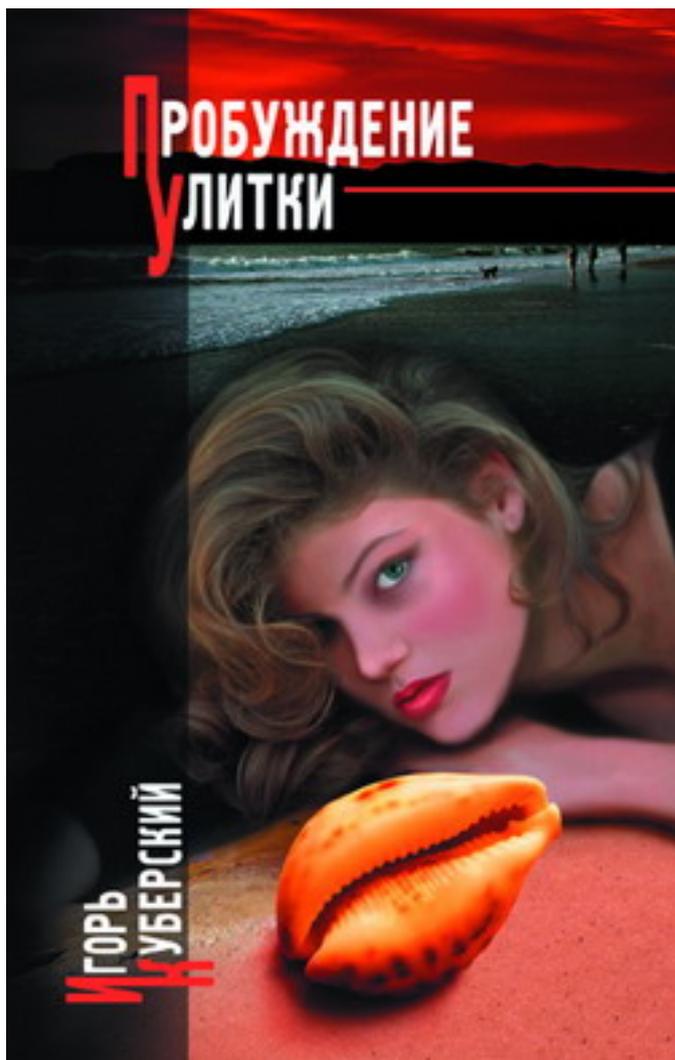


ПРОБУЖДЕНИЕ УЛИТКИ

ИГОРЬ
КУБЕРСКИЙ



Игорь Юрьевич Куберский
Пробуждение Улитки
Серия «Проза о любви»

Издательский текст
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=166667
Пробуждение Улитки: Институт соитологии; М.; 2007

Аннотация

Произведения известного петербургского прозаика, поэта и переводчика Игоря Куберского, написанные им в последние годы, посвящены теме любви и эротике. Испытание духа и плоти, роковой поединок, из которого не всегда выходят живым – такой предстает любовь в увлекательных текстах этого наследника литературных традиций Ивана Бунина, Владимира Набокова, Юрия Казакова.

Искусность автора в изложении любовной тематики побуждает нас считать его творчество неким эталоном эротической прозы в современной отечественной литературе. И подобно тому, как температуру окружающей среды у нас принято измерять в градусах Цельсия, степень литературного эротизма можно было бы измерять в Куберах.

Содержание

I	5
II	7
III	10
IV	12
V	15
VI	18
VII	20
VIII	25
IX	30
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Игорь Куберский

Пробуждение Улитки

*Тотчас он пошел за нею, как вол идет
на убой и как олень на выстрел.*

Книга Притчей

*К тому же улитки не ведут
бессмысленных войн.*

Знаки агни-йоги

Да, я приучил себя довольствоваться малым. Лучше пригоршня в покое, нежели горсти в трудах и заботах. Из максималиста я стал минималистом. Труднее всего было обуздать честолюбие и признать, что ничего не получилось. Я и сейчас иногда взбрыкиваюсь – мне кажется, что еще есть время и силы. Мне даже кажется, что сил у меня больше, чем в молодости. Я не про славу. Я про чувство внутренней гармонии – с внешней уже не вышло и не выйдет. Но внутри можно было бы переорганизовать весь этот трагический фарс и хаос в свет и покой. Последние годы я только этим и занимался. И заклинал себя: я свободен и я спокоен. Я никому и ничему не завидую. Я не боюсь смерти и не жажду бессмертия. То, что я делаю, я делаю хорошо. Я стараюсь не приносить людям зла и не считаю себя лучше других. Совсем как у Швейцера: «Я есть жизнь, которая хочет жить. Я есть жизнь среди жизней, которая хочет жить». Мое сердце открыто для добра и любви... Нет, про сердце я не буду. Сердце мое закрыто. Я боюсь его открывать. Если оно открывается, то само. Мы с ним разошлись, и, когда ему больно, я злорадствую: «Вот видишь, я оказался прав. Так тебе и надо». Друг к другу мы относимся с недоверием.

Иногда я колочусь в стену головой – Господи, какие прекрасные молодые женщины были рядом со мной и сколько прекрасного приносили они в мою жизнь, сколько подарили мне минут, и часов, и дней, и месяцев, и даже лет, как счастлив я бывал с ними, и как лучились их глаза, и как они улыбались – да! мне! – и что теперь? Где они? С кем? И кем стали? Наверняка у них дети и, может быть, внуки. Вспоминают ли они меня? Это один из моих вечных вопросов самому себе. Вспоминает ли кто-нибудь меня, принес ли я кому-нибудь хоть крупицу счастья?

I

Я увидел ее среди уличных художников в портике бывших Серебряных рядов, что на Невском возле Думы.

– Ты только из-за моих ног со мной познакомился! – смеялась она.

И вправду – не из-за работ же ее, прикнопленных рядом с этюдником. Работы мне тогда не понравились. Она заканчивала чей-то портрет, держа его перед собой на коленях, а складной стульчик перед ней был пуст; видимо, портретируемый, не признав сходства, исчез, но она еще сердито водила цветными мелками, добавляя тупой похожести, на которую клюют невежды. Помню, сердце у меня застучало вдвое быстрее, верно угадав момент жизни, от которого начнется что-то другое, сердце застучало, отдаваясь в висках, и не своим от волнения голосом я спросил:

– Меня нарисуете?

Она глянула в мою сторону сквозь очки и мрачновато кивнула на складной стульчик:

– Садитесь.

Нет, не мрачновато, скорее безучастно, и даже не безучастно, а со скрытой неприязнью – я был работодателем, а ее натура протестовала против этого. Но она пришла сюда зарабатывать деньги и поэтому сказала «садитесь». Я сел, ее высокие ноги оказались перед моим носом, и я с трудом оторвал от них взгляд. Лицо ее было смуглым, розовые губы своенравно вывернуты, как у таитянок Гогена, а нос с большими ноздрями по-азиатски слегка приплюснут. Голос звучал низко и уверенно.

– Какой вы хотите портрет? – спросила она. – Цветной, черно-белый?

– Цветной, – сказал я, стараясь не опускать глаз.

– Цветной стоит дороже, – сказала она.

– Я могу себе это позволить, – сказал я.

Она выбрала из пачки листок, шершавый лист для пастели, – и у нее были такие кисти рук, такие умные живые пальцы, что мое учащенно бьющееся сердце дало перебой, а душа заныла.

– Я правильно сижу? – спросил я.

Мне хотелось с ней говорить.

– Правильно, – сказала она, время от времени окидывая меня тем пристально-отсутствующим взглядом, какой отличает художников. – Можете вообще шевелиться.

– А Модильяни писал не так, – сказал я. – Он сначала полчаса смотрел на модель, а писал по памяти.

– Я не очень люблю Модильяни, – сказала она.

– А кого вы любите?

– Ну... – замаялась она, явно не желая открываться перед посторонним.

– Серова? – спросил я, потому что в тот момент читал про Серова.

– Да, – сказала она, – и Врубеля. Вот у них получалось.

– Но «Девушку, освещенную солнцем» Серов писал три месяца по восемь часов в день, – сказал я.

– Он мог себе это позволить, – ответила она моей фразой.

– Я как раз собирался сходить в Русский, портреты Юсуповой, Орловой – это черт-те что!

– Да, – сказала она, – неплохо бы сходить.

Похоже, я ей мешал работать, но у меня было мало времени – пятнадцать минут, не больше, как она заверила.

– Не знаю, как он писал свою девушку, – продолжал я. – За три месяца она должна была сильно загореть. А этого незаметно.

– Он создавал, а не копировал, – сказала она. – У него был образ, замысел.

Тем временем что-то вокруг изменилось, как будто мы создали некое силовое поле, притягивающее окружающих. Сначала возникли зрители, затем телевизионщики. То есть сначала возник молодой человек с залысинами и лукавой улыбкой прохиндея, а за ним, как на веревочке, – большой и толстый оператор с переносной телевизионной камерой. Лукавец зацепился взглядом за нашу парочку и что-то шепнул оператору. Тот сделал шаг в сторону, чтобы мы попали в кадр, и прицелился в свой видеоискатель. Затем он кивнул ведущему, и тот на цырлах подсеменял к нам.

– Похоже, нас будут снимать, – поежился я.

– Не бойтесь, – сказала она.

Я сидел очень низко, и молодому человеку пришлось сильно наклониться, в руке у него был микрофон.

– Как вы относитесь к фотографии? – спросил он.

– Нормально, – сказал я.

Тогда он спросил, почему я захотел занять свой собственный портрет. Я не мог ему сказать, что на собственный портрет мне абсолютно наплевать, и я стал говорить ему про психологические отношения художника и модели. По его заскучавшим глазам я понял, что говорю не то, что ему нужно, но моя художница слушала с интересом. Потом он спросил, нравится ли мне, что художники вышли на улицы и вообще «такая атмосфера». Все это тогда было еще в новинку нашему суровому городу, и вопрос звучал актуально. Я сказал, что если мы считаем себя Европой, то, как в европейских городах, у нас на улицах должна быть атмосфера свободного, радостного общения. В «европейских городах» я тогда еще не был, наверное, именно поэтому от них в телепередаче ничего не осталось. Удивительное дело – голос был мой, а слова не мои. Вид у меня на телеэкране был слегка затравленный, будто меня брали с поличным. Моя художница держалась много лучше. Хотя и ее слов про милицию, гонящую художников, в интервью не оказалось.

Портрет был готов, это был не я, не тот я, каким я видел себя в «психологических отношениях художника и модели».

– Может, получилось не совсем... – с сомнением сказала она, но я поспешно сказал: «Что вы, отлично!» – и еще поспешней выложил деньги.

Я выбрался из толпы со свернутым в рулончик портретом. Затем вернулся – стул перед ней уже был занят – и громко спросил через головы:

– Как вас зовут?

Мне нужно было домой, но, покружив по Невскому, я снова вернулся к портику. Ее я не нашел.

II

Назавтра ее не было. Я прошелся по всем засидкам художников, которые она упоминала, я побывал везде – она исчезла. Я чувствовал, что напрасно ищу, что ее сегодня нет и не будет, но не верил инстинкту и продолжал торить мостовые и площади города. Он был прекрасен и пуст, он был ужасен, он был белым на солнце и черным в тени. Я перебирал всякие мелочи нашей тридцатиминутной встречи, весь тот переливавшийся из пустого в порожнее разговор, который теперь мне казался значительным, полным разных поощряющих мою инициативу знаков и символов, и проклинал себя за пижонство. Упустить, потерять, лишиться... И все-то из опасения показаться пошлым. Ведь должен же был я понимать, когда сидел на ее стульчике, – Господи, даже тот стульчик я теперь любил! – должен же был я тогда понимать, что подобным же образом садятся на него и начинают полоскать перед ней зубы десятки других знатоков Серова.

– Вообще-то я оформитель, – сказала она. – И еще я реставрирую иконы.

Нет, она работала не в театре. Она вообще нигде не работала, только где-то там числилась. Да, а на жизнь она зарабатывает портретами. Сначала было страшно – вот так взять и выйти на улицу. Надо было себя преодолеть. Она начала в Пицунде. В Пицунде было проще, там она одна рисовала. Нет, грузины не такие уж щедрые. Они садились, чтобы познакомиться. Каждый предлагал себя в мужа. Чтобы отстали, она говорила, что ей пятнадцать лет. Но они соглашались подождать. Прямо тут же, на стульчике. Они забывали, что садились для портрета, и потом не хотели за него платить. Им была нужна женщина, а портрет им был не нужен, они ничего не понимали в портретах. И не понимали, зачем ей деньги. Деньги должны быть у ее мужчины. Они не понимали, что деньги ей нужны на жизнь, они не понимали, почему она одна. Такая девушка не могла быть одна. В Пицунде она дружила только с мальчишками, с целой ватагой мальчишек, потому что они были чисты и красивы. Грузины красивы только до семнадцати лет.

А потом она сказала, что ей нравится такой возраст, как у меня, и моя седина ей нравится. Когда мужчина начинает седесть, он становится моложе. Потому что светлей. Потому что седина дает рефлекс света на лицо. Не мешаю ли я ей рисовать своей болтовней? Ничего, она привыкла. А вообще-то ей интересно поболтать со мной. И еще она сказала, что на днях должна переехать и будет очень занята. Это я совсем забыл, она просто очень занята. И еще она снова собиралась в Пицунду. Может, она уже там. Там бы я ее наверняка нашел по толпе мальчишек на солнечном песчаном берегу. И хотя я уже понял, что ни сегодня, ни завтра ее не увижу, мистическая интуиция медиума, а влюбленный – почти медиум, говорила мне, что я ее еще встречу.

Я обнаружил ее на четвертый день, когда, согласно Книге Бытия, творец отделил свет от тьмы. Она шла стремительной высоконогой походкой в компании высокого худого мужчины, который был седей и старше меня. Лицо у мужчины было неглупое, но испитое и циничное, и я огорчился за нее. Все было кончено. Мне оставалось только незаметно проскочить мимо. Но она заметила меня, узнала и вдруг побежала ко мне. Пока она подбегала, краем глаза я увидел, как ее спутник соорудил кислую презрительную гримасу. Гримаса была явно по моему адресу.

– Я наконец переехала, – сказала она, улыбаясь во весь рот, будто радуясь встрече. – У меня есть телефон, я могу вам позвонить. Я не люблю звонить из автомата.

Нет, она не давала телефона, она просила мой, она оставляла за собой инициативу, и она сказала:

– Я вам позвоню.

– Когда? – спросил я пересохшим горлом.

Мы встретились рано утром на Невском проспекте, когда он еще чист, свеж и малолюден, и политые мостовые еще не отдали летнему небу свою влагу, и кажется, что тебе не сорок пять, а шестнадцать, и от Невского ты ждешь чуда, и он дарит его на протянутой ладони. Что там? Три клеверные головки: розовая и две белые.

– Это для вас.

Я засовываю их стебельками в карман рубашки, и в темноте кинозала они флуоресцируют от экранного света.

Никогда в жизни не ходил в кино на первый сеанс. Она тоже. И вообще кино разлюбил. А она и не любит. И если б не нервные соседи слева и справа и, кажется, сзади, мы бы объяснились на этот счет: это ведь нечасто – не любить кино. «Я не уверен, что это искусство», – только и успел сказать я. Я много об этом думал и теперь не уверен. А она просто не любит киношников и переносит это на их продукцию. Она не любит суету, хотя, пожалуй, сама немного суетлива. «Я тоже суетлив», – шепчу я, наклоняя к ней голову, так что задним соседям приходится искать другую точку зрения; зал прямой и узкий, как школьный пенал, непонятно, почему его назвали «Титан». «Это потому, что русский человек испытывает тягу ко всему необычайному», – без зазрения совести цитирую я Пастернака и добавляю, что до революции здесь был ресторан Палкина, а напротив, в «Октябре», – дом свиданий под названием «Шуры-Муры». Господи пронеси, нет больше сил молча трястись от смеха. Мы прыскаем в темноте.

И вечером мы еще вместе. Пьем чай на кухне в ее новой квартире. Она сняла ее на полгода. Отличная хрущевская квартира – балкон, совмещенный с соседским, ватерклозет, совмещенный с ванной, комната, совмещенная с кухней... Ничего, она все здесь распишет – она не выносит скучные интерьеры. На окнах будут витражи, на стенах – декоративные ткани. Конечно, я могу помочь, если захочу, хотя она привыкла обходиться сама. Она с пятнадцати лет сама. Отец, он хороший, но слабый человек. Фантазер. Пишет стихи. В стихах у него тигры, пальмы, пампасы. Вообще-то он инженер-электронщик. Очень хороший электронщик, но очень слабый человек. А мать она ненавидит. Мать все детство ее была – мать не выносит другой жизни рядом с собой. Бабушка – вот кто ее спас. Бабушка взяла ее в свой дом и воспитала. Она скоро возьмет бабушку к себе. Они купят за городом дом и будут жить вместе.

В открытое окно кухни лезла листва кленов, комары-невидимки распевали свои кровожадные песни, легко преодолевая четыре этажа, равные двум 1913 года постройки, по всем трубам вверх-вниз утробно носилась вода, дом гудел, как нутро пациента под фонендоскопом... Нет, она будет жить только в своем собственном доме, за глухой стеной, ей нет дела до того, что вокруг, она создаст свой собственный мир, она умеет все – малярничать, работать по дереву, раскрашивать и обжигать плитку, класть ее.

– Я тоже умею, – сказал я. – Дома я сам облицевал ванную.

– Это все не то, – поморщилась она, хотя не бывала в моей ванной.

– Конечно, не то, – сразу согласился я. Мне почему-то было радостно соглашаться.

Наконец я сказал:

– Уже поздно, мне пора.

– Да, поздно, – сказала она. – Можете остаться. Думаю, нам будет не слишком тесно. Это было последнее наше «вы».

В ней не оказалось ни капли постельного кокетства, она сразу доверчиво, простодушно раскрылась мне, будто наперед знала все, чем я могу ее одарить, и благодарно принимала это, была податливо-послушна и в то же время равна мне в предприимчивости, и та часть моего тела, где приостанавливались в ласке ее живые пальцы, тут же начинала ответно вибрировать, будто пронизанная пучком золотого света; и в самозабвенном бреде соития, которое все не кончалось, я почему-то ощущал себя поющим деревом, вроде яблони, или вишни

в цвету, которые по зримому образу ведь ни что иное как белые вспышки, ослепляющие нас в миг очередного умиранья.

III

Утром она принялась рисовать новую рекламу, потому что я раскритиковал то, что она выставила на Невском. Я обнаружил у нее совсем другие работы, и они меня поразили. Вообще они мало походили на то, что до недавнего времени привычно висело на выставках моих современников. У одних был профессиональный застой, у других – профессиональное лукавство. Они умели изображать только предметы, но не их связь. Впрочем, была еще надежда, что где-то там, за облезлыми стенами нежилого фонда, все-таки живет и дышит, и заново рождается подлинное искусство. Когда же запреты были сняты и в выставочные залы хлынул сель авангарда, оказалось, что подлинного, настоящего почти нет. Так, отдельные золотые крупницы... Оказалось, что когда в обществе нет глубинной потребности в искусстве, то и само искусство вымирает. Мельчает, мелочится, приспособливается. Оказалось, что гениев порождает потребность в них, то есть среда. Лет за двадцать, за одно поколение, может быть, и возродится дух красоты, дух романтизма. А ей был 21 год, и ей на все было начхать. Затаясь, ушки на макушке, я слушал ее истории, рассматривал ее картины. К себе она относилась иронически. Однако ее было просто обидеть. От насмешки и грубости она была плохо защищена.

Новая реклама у нее не получилась.

– Попробуй на другом фоне, – сказал я.

– Ты прав, – кивнула она и взяла лист плотной розовой бумаги, которой в школьные годы мы обертывали учебники и дневники. Ничего, кроме поросят, на такой бумаге нельзя было нарисовать.

– Да что ты! – воскликнула она. – Ты приглядишься! – и она близоруко беззащитно прищурилась. – Видишь, в тени, за изгибом, она уже не розовая, а голубовато-зеленая. Ей только надо придать абрис лица – она сама засветится, надо только чуть выявить ее фактуру.

Пока она выявляла фактуру оберточной бумаги, я съездил домой за съестным. Заодно я прихватил свой этюдник, так как ее собственный еще болтался где-то у знакомых с половиной ее не перевезенных в новую квартиру вещей. За время моего отсутствия ее прежде розово-светящаяся «тетка» позеленела от усталости.

– Чего-то не то, – растерянно пробормотала она, вставая с колен и скрестно размахивая руками, чтобы разогнать кровь, – чего-то не получается.

Я не стал ее разубеждать. В отличие от большинства женщин, ей нужно было говорить правду.

– Она у тебя похожа на буфетчицу, – сказал я.

– Не в этом дело, – поморщилась она. – Я ее уже нашла. Уже было нормально. А потом я вот здесь ввела фиолетовый, и все потерялось. Знаешь, когда розовый фон, очень трудно найти цветовую гамму, ведь все цвета перекликаются, я рисую и вижу, как они то включаются, то выключаются, как цветомузыка.

– Зачем тебе мучиться с розовым? – сказал я.

– А это интересно, – сказала она, массируя пальцами уставшие глаза.

– Таких теток надо писать с натуры, – сказал я.

– Таких теток вообще не надо писать, – сказала она. – Мне просто нужны деньги, нужна реклама. Тетки очень любят, чтобы их рисовали. Они делают прическу в парикмахерской напротив и идут позировать, они садятся передо мной, и в глазах у них такая тоска. У них комплекс одиночества, они мечтают о мужчине. Они очень терпеливые, и не отказываются от своих портретов, и не просят телефончика. Мой вид их не волнует. Даже ты сел из-за моих ног, ведь так?

– Так, – сказал я. – Но я тут же понял, что ноги ни при чем.

– Как это ни при чем? – обиделась она за ноги.

Когда я, чтобы не мешать ей, лег спать, она еще стояла на коленях перед теткой, розовый фон вокруг которой был теперь перекрыт охрой.

В свете от настольной лампы ее падающие до полу волосы загорались багрецом. Только в середине ночи она осторожно, чтобы не разбудить, забралась рядом под одеяло.

– Ну как? – голосом из сна спросил я.

– Ты не спишь?

– Сплю. Как тетка?

– Ну ее. Не получилась. Завтра я тебя нарисую.

– Я не подхожу для рекламы.

– Ты что?! Ты ничего не понимаешь! – воодушевилась она, привстав, словно намереваясь немедленно посвятить меня в игру света и цвета на моей измятой физиономии.

– Спи, – сказал я и поцеловал ее в лоб.

– Хорошо, – кротко сказала она и сразу заснула.

С той ночи я стал бояться ее потерять.

IV

Я жил у себя, чтобы не путаться под ногами, – она любила свободу и одиночество, – но каждый вечер звонил ей в условленное время, и, если ее еще не было, я начинал умирать. Однажды она задержалась на два часа против обещанного, и я как сумасшедший бегал возле ее дома и едва успел спрятаться в телефонную будку, когда увидел ее. Из будки я и позвонил.

– Где ты? – спросила она.

– Не очень далеко, – сказал я.

– Ты что, ждал меня?

– Нет, я звоню по пути домой.

– Ты... ты можешь приехать, – сказала она, – только я очень устала... Эти несчастные мужики... Им бы только глазки строить. Я заработала всего шестьдесят рублей.

Она просила, чтобы я не подходил к ней, когда она с этюдником сидит на Невском, и я только два раза нарушил свое обещание, но она меня не видела. Оба раза работы у нее не было, и она казалась мне такой беззащитной...

Ее родители и бабушка жили во Владимире, где она окончила художественное училище. «Когда я куплю свой дом...» – часто начинала она разговор или: «Когда придет моя бабушка...» Бабушка была из рода священнослужителей, но в Бога вроде не верила. Не верила и внучка, хотя с Богом у нее были какие-то свои отношения, которых, скажем, не было у меня. Детство ее прошло возле церквей, дядя был иконописцем, и она хорошо разбиралась в иконах. Несколько икон, написанных ее рукой, гуляли по частным коллекциям.

– А что, – хмыкала она, – если человеку хочется иметь восемнадцатый век?

Еще один коллекционер имел акварель «настоящего Шагала», выполненную ею.

– Пришлось повозиться...

– Так он знает, что у него подделка?

– Конечно, он сам меня попросил. Но теперь Шагал висит у него на стене, и все считают, что это подлинник. По-моему, он скоро тоже начнет так считать. Он уже говорит: «Мой Шагал, мой Шагал...» – и, взглянув на меня, она поспешно добавила: – Тебе просто не понять коллекционеров. Это сумасшедшие.

– Я их понимаю, – сказал я. – Я тоже сделал две копии, когда мне захотелось иметь дома своего Рембрандта.

Она еле сдержалась, чтобы не поморщиться, вспомнив те два холста, которые я, всю жизнь балующийся красками, с гордостью показал ей.

– Вот видишь, – сказала она. – Но то копии... – тут она запнулась и извиняющейся скороговоркой выпалила: – Ты все-такиними их, ладно? То копии, а это новое. Это очень трудно. Надо изучить манеру письма. Ой, там столько тайн! – и она отмахнулась рукой то ли от них, то ли от себя, занимающейся этим тайным делом, то ли от меня, как бы щадя мои потаенные, но не близкие ей идеалы. – Давай знаешь что? – сказала она, словно все еще чувствуя себя виноватой. – Давай ты будешь со мной заниматься поэзией, а я буду тебя учить живописи. Я тебе все объясню, ты поймешь.

– У меня нет таланта, – сказал я, хотя недавно думал иначе.

– Ты не прав, – сказала она не очень уверенно, – ты... ты поймешь.

Она настаивала, что главное – голова, про свою руку она забывала, потому что той не стоило никаких усилий заполнить пустое пространство холста ли, стекла или листа бумаги теми вихрящимися призраками, от которых меня, помню, бросало в дрожь, – только тронь кистью – и тебя поведет.

Страх потерять ее все рос во мне. Он возникал почему-то только по вечерам, утром я был за нее спокоен, я чувствовал, что все хорошо, что она поздно легла и теперь спит, и не

звонил ей до полудня. В полдень, как мы уславливались, я будил ее, но она всегда спрашивала: «Который час?» Часов у нее не было – часы ей были не нужны, она жила по собственному времени. Ей неоднократно пытались подарить часы. Но она их теряла. Одни, правда, продержались около месяца, но то и дело выпадали из браслета: в автобусе, в метро, в магазине. Когда они выпали на улице, она решила больше не поднимать их и пошла дальше. Теперь она носила игрушечные, где стрелки, закрепленные под прямым углом, крутились зараз.

Я боялся не того, что она в любой момент может от меня уйти, ведь она и так оставалась сама по себе, я боялся, что с ней что-нибудь случится. Мне хотелось защитить ее от всех напастей мира, а она смеялась:

– Ну что ты выдумываешь. Кому я нужна – старая лошадь?

Она говорила «кому» – значит, одушевленные напасти для нее все-таки существовали.

Прямо над тахтой, на которой она спала, висела большая картина, выполненная ею семь лет назад, стало быть в четырнадцатилетнем возрасте. Картина изображала смерть. Смертью была старуха без возраста с нежным телом. Тело она написала свое, глядя в зеркало. Лицо у старухи было бесплотное, одна кожа, натянутая на череп. Череп улыбался. Через глазницы глядела чернота. Сзади был изображен обнаженный мужчина, мертво лежащий на спине. А внизу – голова юноши, напоминающего Антиноя. В волосах юноши, как в гнезде, стояла на цыпочках птица с длинным тонким клювом и безумно-тревожным взглядом. Птица пыталась обнять крыльями огромное, больше ее, яйцо. Еще были не то какие-то стебли, не то кровоточащие вены: капли крови превращались в цветок. Из цветка рождались гладкие фигурки женщин, а под цветком толпились грубые фигурки мужчин с воздетыми руками. Символика была прямолинейной, как и мир в четырнадцать лет. Картина распадалась, но две ее точки болезненно притягивали взгляд – изогнутая щель смертельной улыбки и птица, обнимающая гигантское яйцо. Второй образ она объясняла так: это какая-то идея, какая-то огромная мысль, человек породил ее, но не может ее согреть, она оказалась больше его, она ему не по силам, у него нет на нее крыльев. А первый... она и не знала, что об этом есть строки:

Ужасный род царицы Кору
Улыбкой привечает нас,
И душу обнажают взоры
Ее слепых загробных глаз.

Она сама писала стихи. И еще сочиняла музыку. Впрочем, и стихи она сочиняла, то есть не записывала, она держала их в голове и над некоторыми неудавшимися строчками «работала» по году. Как-то я принес диктофон, и, прогнав меня с кухни, она целый час начитывала их на пленку. Стихи напоминали ее картины, но были вполне дилетантские, хотя отдельные строчки почему-то сразу запомнились: «Мокнет демон на скамейке, бородач без бороды...» Лучше же всего было само ее чтение. Голос звучал то страстно, то печально, то заклинаяще, на каждое стихотворение у нее были свои краски, это был театр одного актера, это была целая труппа.

– Ну а как же иначе? – сказала она. – Ведь стихи, они все разные.

Моя же попытка отнестись к ним объективно была большой моей глупостью. Она жила в своем мире и не нуждалась в объективности. После моих замечаний стихи она забросила.

– Они все плохие, – говорила теперь она.

Ох, не надо учить птицу летать.

Музыкой она занималась в музыкальной школе, еще она занималась фотографией, танцами, аэробикой и, кажется, состояла в секции моржей. Всем этим занимались многие из

нас, но, когда в фойе кинотеатра она села за рояль, я снова замер – у нее был дивный звук и какая-то особенная левая рука.

– Да, левая рука у меня все время хочет поспорить с правой, она не хочет ее слушать, ей обидно, что права не она, а правая.

– Тебе нужно играть Скрябина, – сказал я, – пьесы для левой руки. У него левая рука играет за две.

Когда ей не надо было зарабатывать на портретах, она сутками не выходила из дому и писала свое. Натура ей, по ее уверениям, была не нужна, она ее помнила, как стихи, каждую деталь. Она рисовала мужское тело и объясняла мне каждую мышцу, где какая крепится и куда идет, и каждую косточку, к которой эта мышца прилегает. Так же она рисовала и лицо. Стрелкой она указывала источник света и начинала покрывать контур тенями и полутенями. Лицо проступало из белого листа, как из замутненного паром зеркала. Лицо обретало взгляд, то есть выражение, и она объясняла, от каких мышц взгляд зависит.

Но глаза она не рисовала – ее вихрящиеся персонажи смотрели на зрителя черными глазницами.

– Это ты у Модильяни взяла? – спросил я.

– Ты что! – возмутилась она. – Модильяни просто не рисует зрачков. У него все как слепые котятка. У меня иначе. Взгляд – он ведь очень конкретен, он приземлен, он смотрит в одну точку. А у меня смотрят изнутри. Это сама душа смотрит из глазниц. Вот приглядишься, – и она направляла руками мою голову, чтобы я правильно пригляделся. – Видишь, какой у них широкий взгляд, они обнимают им сразу весь мир.

Вскоре я действительно привык к этим черным или оранжевым, будто внутри бушевало пламя, глазницам, и направленный человеческий взгляд стал мне казаться суетливым.

V

– Я всегда была ужасно упрямая – меня нельзя было переупрямить. Поэтому меня били. Воспитательницы в детском саду и мать. Мать вообще зверела. А мальчишки – они меня охраняли. Я была их предводительницей. По заборам лазила. Волосы распущены, как знамя. Я была их знаменем. Я тоже дралась. Мы всегда побеждали. Но драться я не любила, хотя была сильной и меня боялись. А воспитательницы, они меня не боялись, они меня ненавидели. Знаешь, какие воспитательницы у нас были... Такие толстые тетки, фашистки. Они требовали, чтобы мы все делали по свистку. Когда мы сидели вокруг тетки, руки надо было держать вот так, – и она показывала, как следовало держать руки. – Они требовали, чтобы мы их слушали, но я не могла их слушать, они говорили чушь. Мне было пять лет, и я уже понимала, что они тупые как пробки. Тупые и поэтому жестокие. Я приходила домой и рассказывала отцу. А он у меня такой... он у меня домашний философ. В магазине он стесняется продавца, рта не может раскрыть, зато дома... дома он рассуждает о мировом добре и зле. Он выслушает меня и рассуждает, шагая по комнате: «Да, это известный метод воспитания, в основу его положен принцип кнута и пряника. Если воспитательница будет допекать тебя своей глупостью, ты можешь ей ответить: ваш интеллектуальный уровень лишает меня возможности объясниться с вами. Предлагаю вам отношения нейтралитета». И представляешь, наутро в детском саду – память у меня хорошая – я все это выкладываю воспитательнице. У нее глаза на лоб, и она мне тут же дает такую затрещину, что я кубарем качусь к двери. А дети смеются.

Но я все равно делала по-своему. Я в группе заводилой была, пела, играла на пианино, танцевала. Я лучше всех танцевала и пела, и в праздник без меня не обходилось. Помню, на Новый год меня вырядили Снегурочкой и песню заставили разучить, глупую такую песню, ты, наверное, знаешь, там такие слова: «Елочка, елочка, елочка, зажгись! Огоньки на елочке бойко скачут ввысь». Очень противная песня. А тут как раз я фильм посмотрела про Остапа Бендера. Остап Бендер был мой любимый герой. Помнишь, он там поет: «Где среди пампасов бегают бизоны, где за бабабами закаты, словно кровь...», там еще есть такие слова: «И одною пулей он убил обоих». Я все не понимала, как это – одной пулей. Спрашиваю у папы, а он глаза отводит, краснеет, говорит, что я это сама пойму, когда вырасту. Ну вот, а у меня тогда игрушечный пистолет был, ковбойский, в ствол у него спереди закладывался шарик на нитке. Нажмешь курок – и он хлопает. Я очень любила из него стрелять. Мне очень хотелось быть ковбоем. И вот на новогодний праздник меня вырядили в Снегурочку, с этим дурацким, как его, с серебряным кокошником. Ужасный наряд. И я вышла на сцену. А под нарядом у меня был пистолет спрятан. Тут тетка заиграла на пианино – у нас была одна играющая тетка, она очень плохо играла, только в до мажоре – она заиграла эту ужасную «елочку», а я вытащила из-под юбки свой ковбойский пистолет, выстрелила и запела: «Где среди пампасов бегают бизоны...» Я не помню, что там делала тетка, кажется, она перестала играть – она не умела подбирать на слух. А я, когда надо было спеть «и одною пулей он убил обоих», я снова зарядила пистолет и выстрелила, целясь в тетку. А в зале были родители. Только моих не было. Папа боялся ходить в детский сад, а мать вообще не обращала на меня внимания. Родители в зале ползали по полу от смеха. А я пела и стреляла. А потом гордо ушла со сцены. Я думала, какая я актриса, всех победила. А они там меня уже ждали, эти тетки. Они схватили меня за волосы и стали бить, молча, а я сопротивлялась. Тоже молча. Я кусалась, как волчонок. Но они были сильнее. Чтобы я не кусалась, они свалили меня на пол и били ногами. А зал за дверью аплодировал, там хотели, чтобы я еще раз вышла и спела. Потом я, кажется, болела два месяца и в детский сад не ходила. Я была в больнице, у меня было что-то с нервами. Врачи говорили, что это нервный срыв. А я еще больше ненавидела

детский сад. Нет, матери я никогда не жаловалась, – я знала, что, если пожалуюсь, тетки меня еще больше накажут.

Я вообще часто болела, хотя считалась очень сильной. Бабушка мне рассказывала, что, когда я была совсем маленькой, меня отдали вместо яслей одной старухе. Мест в яслях не было, а эта старуха содержала что-то вроде яслей. Там было несколько таких, как я, кого не кормили грудью. Что-то этой старухе платили, и она нами занималась, пока родители на работе. Так вот, бабушка однажды после работы зашла за мной и видит: я лежу голая на кафельном полу, мне тогда месяца четыре было, а старуха меня сверху поливает из чайника холодной водой. А я ору во всю глотку. Наверно, меня надо было помыть после этих дел, а старуха была очень брезгливая. После этого бабушка меня оттуда забрала.

У меня на этом свете только один близкий человек – моя бабушка, если б не она, я бы, наверно, не выжила. Она мать моего отца, но она не такая, как он, он слабый, а она сильная. Она потеряла мужа во время войны, она была тогда еще совсем молодая, красивая, она и сейчас красивая, ты же видел ее фотографию, красивая, правда же? И после войны к ней многие сватались, но она не захотела ни с кем быть. Она так и осталась одна, воспитала моего отца, а потом меня. Отец, наверно, пошел в дедушку, дедушку убили сразу же, как только он оказался на фронте, в первые дни. Отцу тогда было всего два года, и он ничего не помнит. Отец вообще от жизни далек: он пишет стихи про пальмы и тигров и читает только научную фантастику. Он и меня приучил к научной фантастике. Нет, в ней что-то есть. В ней есть интересные мысли. В ней нет серости, обыденности. Я ненавижу обыденность. Фантастика – она вся на воображении. О, если б мне удалось нарисовать все, что у меня в голове! Там такие замыслы! Я каждый день себя ругаю, что занимаюсь не тем, но мне нужны деньги, мне нужно много денег, чтобы быть свободной, купить дом и жить как хочется. Я все равно напишу все свои картины. Я не спешу их писать, я что-нибудь напишу, а завтра вижу – все не то. И мне стыдно, что я это сделала. Знаешь, есть два типа художников, одни не боятся выставлять свои вчерашние вещи, они говорят себе: то, что для меня вчерашний день, для остальных – это сегодня. Так они себя оправдывают. А другие – это как я. Мне стыдно за вчерашнее. Мне хочется поделиться только тем, что я сегодня поняла и открыла. Чтобы это было сразу, один процесс – я открыла, а зритель увидел, чтобы мы общались, чтобы это было живое общение, чтобы нам обоим было интересно: мне и зрителю. А зачем выставлять то, что уже умерло в тебе? Если б можно было устраивать выставку сразу же, как только напишешь. Но это ведь невозможно.

И еще у нас был разговор о моем поколении, о том, что все мы никто. Нас не заметили, в нас не было нужды, время нас не позвало, видно, нашего времени и не было. Лучшие наши годы точно уложились в период, названный теперь «застоем». Но разве мы не жили?

«Где ты работаешь?» – вскоре после нашего знакомства спросила она меня. Я ответил. «Я понимаю, что в музее, – сказала она, – но что ты делаешь?» Она спрашивала не о работе, ее интересовало творчество. И я сказал, что пишу стихи. Ответ ее удовлетворил, а мои стихи ей понравились, и она мечтала, что я выпущу их с ее иллюстрациями. «У тебя хорошие стихи, – сказала она, – почему ты их не печатаешь?» «А ты почему не выставляешься?» – спросил я и сказал, что нынешнее общество прекрасно обходится и без поэзии, а живопись – вообще атавизм, и что возрождение – еще не скоро, и что наш удел – быть невостребованными, но что это все же предпочтительней, чем быть в центре внимания, стуча в большой барабан лжи. И еще я сказал, что поэт, художник – это совесть настоящего и проба будущего, а без художника общество неизменно попадает в тупик. «И что, сейчас у нас нет хороших поэтов?» – спросила она, не имевшая ни малейшего представления о том, что называется современной литературой, и из всех русских поэтов любившая только Лермонтова. «Есть поэты», – сказал я и назвал двух или трех. Но, назвав, почувствовал знакомую тоску – это

были просто хорошие поэты, однако поэта истины так и не пришло. Да и я для своих стихов тоже подобрал брошенную дудочку: слова были мои, но мелодия – уже хорошо знакомой.

VI

Однажды, нетерпеливо стягивая с меня рубашку, она вдруг оставила в ней мою покорную голову и, постучав ребром ладони по моей шее, сказала надо мной:

– Теперь я знаю, как Юдифь отрубила голову Олоферну.

И я замер, будто догадавшись, почему она любит эту картину Джорджоне.

– Эй, – подергала она за рубашку. – Я же не Юдифь. Не бойся меня. Я и мухи не обижу. Мне всех жалко. И этого наивного глупого Олоферна. Я бы его и пальцем не тронула. Я ведь улитка.

Так впервые она назвала мне свое имя.

Я перевез к ней почти все свои альбомы, и по вечерам мы рассматривали их. Я учился у нее смотреть заново. Авторитетов для нее не существовало. Сальвадора Дали, восторг моей юности, она называла ремесленником, шукарем.

– Я смотрю на его работы, и мне хочется ему помочь, он ничего не понимает в цвете – все это раскрашенная графика, а не живопись. Разве можно делать такую скучную голубую заливку на полкартины? Каждый кусочек полотна должен сверкать, он должен нести максимум информации, хотя бы цветной. А у него провалы, пустоты. Вот смотри, Ван-Гог – вот Ван-Гог цвет чувствовал. Вот у него желтый, а рядом, смотри, синий или голубой. А где зеленый, там красный. Они поддерживают друг друга, уравнивают. Это не я выдумала. Это закон. Я сама все предметы вижу в спектре. Но даже если этого не дано, этому можно научиться, надо только очень много смотреть. Нет, у Дали есть, конечно, картины. Он мастер, но не художник. И у него ужасный вкус. Если бы он поменьше писал свою жену... Я уже давно поняла, что публику привлекают не самые талантливые, а самые ловкие. Главное – заставить ее говорить о себе. Убедить, что ты гений. Вот в чем искусство. Самый яркий пример – Пикассо. Что он только ни вытворял, а ему аплодировали. Или кивали с важным видом. Зрители – они ведь не понимают ничего, поэтому боятся прослыть невеждами. А Пикассо понимает, что они невежды, и смеется над ними. Это самый большой фокусник.

– Но у Пикассо много прекрасных работ, – заступался я за Пикассо, которого любил и считал, что понимаю за что.

– Еще больше ужасных. Он просто очень умный человек, он очень умело морочил голову.

– Он не морочил. Он делал, что хотел. Он искал новые формы, новые средства выражения. Он вообще все перевернул. Я думаю, что он очень большой художник. Он художник для художников. Он многолик, как Протей.

– Нет, – спокойно качала она головой, ничуть не тронутая моей апологетикой. – У него нет ничего такого, чему стоило бы учиться. Даже линия его мне не нравится – рваная какая-то.

– Ну ладно, – горячился я. – Бог с ним, с Пикассо. Но почему тебе не нравится Гойя? Для меня это величайший психолог в живописи. Больше таких не было. Даже Леонардо да Винчи не психолог. Он просто дьявол или Бог. А Гойя... «Маха обнаженная» – это черт знает как здорово! Я влюблен в нее уже тридцать лет.

– Она плохо написана, – быстро, виновато сказала Улитка, словно ей было больно меня огорчать. – Ну посмотри, – приглаживала она передо мной разворот репродукции и прикрывала верхнюю часть картины, оставляя ноги, живот и едва намеченный треугольник. – Вот это неплохо, почти хорошо, правда ступни красноваты, будто натерты, но... ничего. А здесь, – и она прикрывала нижнюю часть, – здесь все неправильно, торс вытянут, он должен вот здесь кончиться... И лежать так невозможно – нижняя линия бедра должна идти вот сюда. А груди... Особенно правая – она не может быть такой, даже если ее накачать парафи-

ном. И голова большая... Нет, тут все не так, – голос звучал мягко, увещающе, так говорят с детьми. – И ноги нехорошо лежат. У нее нехорошая поза. Разве так лежит женщина? Вообще по цвету она похожа на молочную сосиску.

Однако «Маху» я ей тем более не собирался уступать и говорил, что в неуравновешенности ее позы, в диспропорции верха и низа проступает правда мира, захваченного как бы врасплох со всеми его неправильностями, погрешностями, со всем тем тайным, подспудным, мятежным, мятущимся, что и есть наша подлинная жизнь, какой бы улыбкой мы ни пытались ее скрыть.

Но она слушала меня вполуха, и я было уже начал думать, что у нее полная путаница в голове и что нам придется со всем этим постепенно разобраться, как вдруг она сказала:

– Веласкес – вот кто гений. Посмотри, как у него...

Действительность она не принимала. Она говорила: «Когда я построю дом, я обнесу его высокими стенами и буду гулять в саду, и мне все равно, что там снаружи». И когда я начинал говорить ей о нашей истории или о нашем горестном настоящем, она пожимала плечами:

– Зачем ты мне это рассказываешь? Я не хочу знать, это не мое.

А я говорил ей, что без знания прошлого и настоящего она не сможет расти, и что мы начинаем вглядываться в прошлое с того момента, как понимаем, что мы гости, а не хозяйка за сегодняшним столом, и что скоро нас сменят другие. Что действительность относится к таланту, как ракушка-жемчужница к застрявшему в ней камушку. Она его терпеть не может, но превращает в перл.

– Нет, – говорила она. – Смысл настоящего искусства только в красоте и гармонии, больше ни в чем. А красота и гармония выше прошлого, настоящего и будущего. Они вечны.

Мне нравилось все, что она говорит, даже если я не был с ней согласен. Но тревога моя не унималась.

Иногда я звонил ей по телефону и молчал.

– Ну что с тобой? – спрашивала она. – Говори немедленно, что с тобой. А то я не буду спать всю ночь.

И я бормотал в ответ что-то нечленораздельное, но бодрое.

– Ты вот что, – говорила она, – ты сначала сформулируй, что ты хочешь мне сказать, а потом звони. Договорились? А то я так не могу, я не знаю, что делать, как тебе помочь. Я и так думаю о тебе все время. Это даже мешает мне работать.

– Спасибо, – говорил я и вешал трубку. И сидел, обхватив голову руками, и не хотел жить.

А потом я снова набирал ее номер и на ее радостное «Алло!», будто у нее там шло невесть какое празднество, говорил:

– Я сформулировал.

– Ну? – радостно вопрошала она.

– Я тебя люблю.

– Я тебя тоже очень люблю.

– Только не говори «очень».

– Я тебя ужасно люблю.

– Я тебе поверю, когда ты просто скажешь, что любишь, – говорил я, кажется, начиная понимать, что со мной, – она меня не любила. Она дружила со мной.

Она сама сказала, что не может любить. Что боится любви. Что если она полюбит, то потеряет все сразу – свою живопись, свою свободу, свою голову, потому что иначе она любить не умеет.

– Если я полюблю, я погибну, – говорила она.

Я не хотел ее гибели, но я хотел ее любви.

VII

Песочные часы... На многих ее картинах были песочные часы. Она их любила. Они показывали не время, они показывали, как радость перетекает в печаль. Печаль была обратима – надо было только перевернуть колбочки. Иногда радость стекала в верхнюю прозрачную сферу прямо с неба, материализуясь в образе голубой хризантемы или белого мака, а в нижнюю капали слезы.

– Это все слишком красиво, – говорил я. – Правда не может быть слишком красивой. Она скорее уродлива.

– Не хочу такой правды, – говорила она.

Песочные часы держала на ладони на уровне плеча ее постоянная героиня – она сама. Иногда она задумчиво стояла на коленях среди высокой травы, в другой руке у нее был лысый одуванчик с двумя-тремя неоторвавшимися парашютиками. Листья одуванчиков были ее любимой едой. К этому ее приучила бабушка. Одуванчики со сметаной. Черепаха тоже предпочитает одуванчики, заметил я. Вот видишь, сказала она, посчитав, что я сделал ей комплимент.

В саду у бабушки росли самые красивые цветы, ни у кого из соседей таких не было. На них ходили любоваться со всей округи. Она любила ночевать в садовом сарайчике. Из всех углов торчали пучки засушенных трав и цветов. Из сена шло вкрадчивое неумолчное шуршание, будто кто пробирался к ней и никак не мог пробраться, сквозь рваную щель в кровле были продеты пять лунных спиц – это сама луна пыталась ее нащупать во тьме ночи. Превозмогая страх, она отворяла дверь, выходила в сад, и ее обступали цветы, холодные, остывшие, влажные, полные лунного света и ночной лунной тяжести, а точнее, печали, которая только днем походила на радость.

Бабушка любила делать подарки. За подарками ездила в Москву, деньги же выручала за цветы на базаре. Улитка этого не знала. Однажды они столкнулись в цветочном ряду. Улитка сделала вид, что ни о чем не догадалась, а бабушка – что здесь случайно. Вместе с цветами они пошли домой. Больше цветы не продавались.

Подарки были дорогие.

– Ты бы видел мое пальто, от самого Зайцева!

Но при мне она надевала его раза два. Месяцами она ходила в чем-нибудь одном. Одежда или отдавалась подругам, или выбрасывалась. меховую, по последней моде, шапку она оставила у меня. Я приносил обратно, но она опять запиховала ее в мою сумку:

– Я все равно не буду ее носить!

– Но почему?

– Она мне мешает думать.

Однако красивые вещи она любила. Они ее возбуждали. Она натягивала колготки в крупную ажурную сетку, вставала на высоченные каблуки и так весь день гарцевала перед начатым полотном.

– Когда я пишу, я должна быть хорошо одета, я должна хорошо выглядеть – это меня мобилизует.

Это не было правилом – но на данный момент это могло быть так. Один Бог знает, из чего она черпала вдохновение. Но вряд ли из одного и того же. Каждый раз источник был другим. Вид собственных стройных ног в черной сетке ее возбуждал. Лежа рядом со мной, она воздевала ногу, сгибала в колене и прищуривалась:

– Смотри, сетка – она организует объем плоти. Ногу ведь очень трудно нарисовать. Кожа отсвечивает, переходы неуловимы, форма ускользает. А так, смотри, ее облегают клеточки, они лепят ногу – так, так и так. Вот тут, – указывала она на лодыжку, – сгущение, а тут

наоборот... клетка большая и свет рассеивается. Объем – это ведь количество света. Сетка пропускает его как раз столько, сколько нужно, чтобы уловить форму. Можешь попробовать нарисовать мои ноги. Ты увидишь, как это легко.

Возбуждала ее и музыка. Даже не музыка, а звуки, звуковой поток. Она работала под музыку, неважно какую, лишь бы не было тишины. Тишина ее угнетала. Она могла крутить одну кассету с утра до вечера. Мой магнитофон она забраковала только потому, что в нем не было автореверса.

– Тебе трудно раз в полтора часа поменять кассету?

– Зачем? Я не хочу отвлекаться. Я ведь рисую. Нужно все бросить, подходить, переставлять. А у меня, может, как раз вдохновение.

– Но так музыку не слушают. Это не музыка, а музыкальная жвачка. Разве можно слушать целый день одно и то же?

– Я могу.

Когда музыки не было, но был я, я читал ей. Я читал до тех пор, пока не садился голос. Я читал, а она колдовала перед холстом.

– Ты хоть слышишь меня?

– Конечно.

– И все усваиваешь?

– Все. Потом мы с тобой обсудим. Ты читай, не отвлекайся.

– Больше не могу.

– Ну хорошо, тогда поставь музыку.

Но иногда кисть в ее руке вдруг замирала:

– Ты хорошо читаешь...

Я еще больше старался.

– Ты очень хорошо читаешь, – говорила она и бросала кисти.

– Что? – вопросительно поднимал я брови.

Она смущенно улыбалась, и глаза ее переставали видеть:

– Я хочу к тебе...

– Прямо сейчас?

– Да... – переходила она на шепот. – Меня взволновал твой голос.

«Хочу к тебе» вместо «иди ко мне»... И я слушался ее. Ее можно было только слушаться, ею нельзя было повелевать. Чувство, которое она вызывала, было для меня новым. Будто я не брал, а отдавал. А потом наступала волшебная легкость. Я не мог вспомнить, чтобы испытывал раньше нечто подобное.

Она любила, чтобы я приходил к ней утром и будил ее. Она нежилась в постели, пока я не приду. Она любила открывать мне дверь в пончо на голое тело, в ауре накопленного сонного тепла, и прижималась к моему веющему октябрьским холодом плащу.

– Ты простудишься!

– Нет, – шептала она, – я жду тебя с семи утра...

– Я сейчас, – говорил я и, с трудом оторвавшись от нее, бежал к крану, чтобы хоть чуть-чуть согреть руки под горячей струей воды. И когда ложился к ней, то еще прятал ладони.

«Хочу к тебе».

Кроме меня и живописи время еще отдавалось подругам. Я уступал ей это время, хотя хотел быть с ней всегда, постоянно, каждую минуту. Но я уступал ей ночи и даже целые дни, чтобы она скучала по мне, чтобы ей хотелось меня видеть. Больше всего на свете я боялся прискучить ей. Поэтому я старался уходить чуть раньше, чем нужно. Я знал, что, как бы ни было ей хорошо со мной, она неизбежно испытает желание остаться одной. Подруги этого не знали и быстро надоедали ей. Но без подруг она не могла. Верней – она не могла без женщин. Женщины ее тоже волновали. Женское тело ее волновало больше мужского.

- А ты не испытываешь желания их ласкать? – спрашивал я.
- Нет. Но меня к ним тянет. Они такие красивые, нежные, плавные. Мужчине не понять.
- Будто бы.
- Вы... мужики... – голос ее становился уличным, насмешливым, отстраненным. – Вам бы только хапнуть, завладеть, распять... А я изучаю, смотрю.
- Я тоже смотрю.
- Это потому, что в тебе много женского... Но я с ними скорее мужчина, чем женщина. Я слежу за ними, я их просто выпиваю, впитываю в себя. Я вообще к людям отношусь, как паук к мухе. Я насыщаюсь, а потом бросаю. Потом они мне неинтересны.
- Но меня ты не выпила.
- Потому что мы с тобой равны. Потому что ты тоже художник. Художник не может выпить художника.
- А зачем ты с ними спишь?
- Потому что у меня одна кровать. И потом они такие нежные, теплые... Женское тепло меня успокаивает. И на душе становится прохладно. Разве можно выспаться рядом с мужчиной...
- А они тебя не боятся? Не принимают за лесбиянку?
- Ты знаешь, немного побаиваются. Я это чувствую. Я чувствую в себе это начало. Мне кажется, что я могу кого-нибудь соблазнить. Но мне это не нужно. Мне достаточно наблюдать. Вообще мне секс не очень нужен, ты же знаешь.
- Да, знаю.
- Я вообще думала, что обойдусь без секса. Я была долго убеждена, что это не для меня. С пятнадцати лет мои подружки уже сходили с ума, а я сказала себе, что это не мое. Что я проживу без этого. Что я должна прожить как-то иначе, над всем этим... Мне не хотелось плоти, мне не нравилось думать об этом и говорить. Я и женщиной стала всего два года назад, и то из любопытства. Я просто так решила. Я вообще всегда старалась многое переживать и постигать через чужой опыт. Чтобы не повторять чужих ошибок. Мне не хотелось стать к двадцати годам такой, как мои подружки.
- Но тут чужой опыт не поможет...
- Ты прав... – усмехнулась она. – То, что я сама про себя придумала, повредило мне. И потом, когда все началось, было очень трудно. Я была психологически не готова к этому. Мне это не понравилось. Я не понимала, зачем все это делают. Я это делала не для себя – мне было просто жалко на вас смотреть...
- И меня тебе жалко?
- Нет, с тобой мне хорошо. Мне очень хорошо с тобой. Ты вне конкуренции. Я верил.
- С подругами она познакомилась на улице. Она рассказывала так:
- Мы увидели друг друга и бросились навстречу.
- Подруга она выбирала красивых и стройных. Несколько дней она возилась с очередной избранницей – водила в ресторан, дарила тряпки, оставляла у себя ночевать, давала житейские советы, потом продолжала опекать уже на расстоянии, ссужала деньгами, зачастую без надежды заполучить их обратно, отвечала на телефонные просьбы, выслушивала признания в любви и фразы типа: «Кроме тебя, у меня никого нет», «Мне страшно без тебя», потом блеск в ее глазах пропадал, рассказы прекращались, и она начинала страдать и сердиться.
- Ты их делаешь несчастными, – говорил я.
- Я хотела помочь. Я хотела наставить на путь истинный. У них такой низкий старт. Я хотела открыть им глаза. Чтобы они поняли, как надо.
- Хорошо. Они поняли. Глаза у них открылись. Как им теперь жить? Им было много легче, когда они не понимали. Они все равно не станут тобой, не смогут жить, как ты. Чтобы

жить, как ты, надо иметь талант. А у них нет таланта. Они просто живут. Раньше они знали, чего хотят, а теперь не знают. Ты их заморочила.

– Но нельзя хотеть то, что они хотят. Надо стремиться выше. Так ведь нельзя жить.

– Тогда не бросай их. Тогда будь с ними всегда. Открой пансионат для благородных девиц. Облагораживай их. Выдавай замуж, принимай роды. Ты их приручила? Так отвечай за них.

– Ой, они мне так надоели. . .

– Теперь они станут твоими врагами.

– Ты знаешь – нет. Они не становятся моими врагами. Они сами уходят. Они не выдерживают. Это не я, это они меня бросают. Меня все бросают.

Алена, эльфическое существо, пятнадцать лет, Вагановское училище, дымчатые глаза под прямыми бровями. . . Когда я увидел ее, что-то в моем сердце, отданном Улитке, дрогнуло. Она под села к Улитке на Невском, ей хотелось иметь свой портрет, и Улитка не взяла с нее денег. А вечером Алена сидела у нас на кухне, пила чай с медом и рассказывала свои простенькие интернатские истории. Для своих лет она была неглупа, правильно строила фразу, хотя и затрачивала вдвое больше слов, чем Улитка; та шепнула мне, что она из «трудной» семьи, где есть и сестры и братья, нет только отца, а мать кем-то вроде бухгалтера, и оба мы настроились помочь ей. Тогда мне казалось, что мы в состоянии помочь всему свету. Наверно, Алена немного играла, ну самую малость, но ей было пятнадцать, и ей хотелось нравиться. Она и нравилась – всей своей юной статью, уже профессионально выправленной, так что спина была дивно прямой, а шея долгой, и подбородок горделиво вскинут, – так сидели наши прабабушки в петербургских салонах, теперь же так умели сидеть только балерины, будто только им досталось в наследство то, что навсегда утрачено нами; и до меня вдруг дошло, за что я, пожалуй, и люблю классический балет, – вот за этот самый дух утраченного, за тайну сведенных лопаток, за линию рук, за женственность эпохи романтизма, за романтизм женственности. Как много высоких тайн обещалось в Алене, как выглядели они из-за ее пока не очень точной, сбивчивой речи, которой она помогала усилием прекрасных соболиных бровей. В ней самой было что-то от гибкого соболя или от ласки, пусть это все уже было у того же дьявола Леонардо да Винчи, – ведь женская красота искушает без всякого разумения, она пробуждает инстинкт, что древнее самого первого слова, про которое сказано, что оно-то и было в начале; если б так, нам бы легче жилось, но не слово правит бал. «Ты ведь развращен», – спокойно и без осуждения сказала однажды Улитка, исходя не столько из знания обо мне, сколько из предположения, что с мужчиной сорока пяти лет иначе и быть не может. «Думаю, что нет», – столь же спокойно ответил я, убежденный в обратном, – что по сравнению с юностью, которая чиста, я утратил не так уж много и поклоняюсь тому же, разве что менее пылко. Но в приложении к моменту, когда я, стоя у кухонной двери, следил за Аленой, может быть, Улитка была права. Да, я испытал суетное мужское беспокойство рядом с девочкой, которая вот-вот превратится в женщину. Почувствовала ли Алена тот мой тайный, спрятанный импульс, когда распивала чай, безукоризненно прямо держа спину, а я стоял у двери и изображал из себя доброго папашу? Не знаю.

Затем Алена кому-то позвонила, чтобы ее встретили, – было поздно, темно, шел дождь, и Улитка послала меня проводить ее до метро. Мы шли рядом, обходя лужи, я держал над Аленой зонт, и она, чтобы и мне досталось укрытие, зацепилась за меня, избегая, однако, касаться бедром, и что-то снова рассказывала – странно, но я не помню ничего, зато помню затрудненность нашего пути, ощущение собственных лет рядом с ее годами и чёрта, сидящего на сгибе наших перекрещенных рук, на моем локте. Помню и свое подмороженное лицо.

Больше я Алену не видел. Не хотел видеть – выбор был сделан, и только оставалась досада, что однажды он все же подвергся испытанию. А Улитка возилась с Аленой, песто-

вала, дарила тряпки, косметику, давала советы... пока однажды ночью не раздался телефонный звонок и Аленин голос, странно спокойный, как бы рассчитавший все так, что не осталось места для эмоций, сказал:

– Послушай, я беременна. Мне нужно сделать аборт. Мне нужны деньги.

Боже мой, Алена, девочка, эльф, атласные крылышки в кордебалете «Жизели»! Впрочем, «Боже мой!» воскликнул не я – меня, как всегда, не было ночью с Улиткой – воскликнула сама Улитка, и что-то в ней оборвалось тогда, рухнуло, еще одна иллюзия рухнула, погребя под собой ее любовь к Алене, ее заботу о ней. Улитка понеслась в ночь выручать – дала денег, нашла врача; ох, не первый, не первый раз обращались к ней с такой просьбой, но Алена! Улитка прогнала ее мальчика, познакомила с одним из своих добрых друзей, чтобы тот взял под свое тридцатилетнее сильное крыло, но не крыло нужно было пятнадцатилетней Алене, а сапоги, колготки, зимнее пальто. Она вдруг открыла, что то, что называют любовью, – это вроде постоянного обмена одного на другое, нечто материальное; что от души одни страдают, а от них одна убыль. Тогда как можно вовсе не страдать и даже постоянно выгадывать на желании, которое она пробуждает в мужчинах, и что есть очень много мужчин, которые думают так же, как она, и готовы на более или менее честную сделку, и она пошла в эту сторону, и Улитка ее не удержала, потому что не могла содержать ее, потому что идея частного пансионата откладывалась до лучших времен. Алена, ее прекрасные брови, выражавшие то, что она хочет сказать, быстрее и точнее слов... В ней Улитка потеряла свою мечту о сестре. Сколько их прошло передо мной – ее несостоявшихся сестер, их приносил ветер, а уносила буря, и ни одна не удержалась, не продержалась рядом на тихом Улиткином острове.

Улитка тосковала по сестре, она тосковала по заботе о беззащитном существе женского рода, и я не мог ей в этом помочь.

– Хочешь, я буду твоим братом?

– Я хочу, чтобы ты был самим собой.

VIII

Я любил с ней бродить по городу. С ней я видел город заново. Близорукая, в очках, зрение у нее было минус шесть или семь, она лучше меня видела не только город, но и людей.

– Смотри, какой дядя, – толкала она меня в трамвае, требуя, чтобы я немедленно обернулся и посмотрел.

– Сейчас, – обещал я и, выбрав удобную минуту, оборачивался.

– Он похож на кота-плаксу, – говорила она. – Помнишь такой мультфильм?

Одно время она собиралась стать художником-мультипликатором, придумала даже своего собственного героя – весельчака Макузу. Макуза был помесью кота с человеком и отличался неисчерпаемым оптимизмом. Когда мы прощались на несколько дней, а то и недель, она дарила мне очередного Макузу. Все Макузы улыбались.

На настырную, с рюкзаком за плечами бабку, приехавшую в город за продуктами, говорила:

– Смотри, смотри – бабка-парашютистка. Из деревенского десанта.

Она постоянно оборачивалась на кошек и собак или вдруг хватала меня за рукав:

– Смотри, пролетела птица с такими грязными ногами...

– Какая птица? – прыскал я.

– Я не заметила. Большая... Ворона, наверно. Почистила себя клювом – под перьями, под крыльями... А про ноги забыла. Вот и грязные. Почему она их не убирает, как самолет?

– Ой, послушай, послушай! – теребила она меня, улыбаясь во весь рот. – Однажды я видела двух ворон. Они ругались. Они сидели на земле и страшно ругались. Он ей говорит: «Дура ты, дура!» А она даже не обижается и боком так от него отходит, скрестным шагом... А он за ней: «Дура ты, дура старая!» А она все равно умнее. Она не достаивает его взглядом. Она молча с ним ругается. А его от этого только разбирает. Ему хочется покаркать, а она молчит. Она его молча презирает. И он уже не знает, что ему еще сказать. Ему вроде бы уже скучно твердить одно и то же. Потому что получается, что он сам дурак. И тут, пока он соображает, что ему делать, она вдруг разворачивается в его сторону и как клюнет его своим толстым клювом, как клюнет! А он как отскочит от нее. Он подскакивает, чтобы взлететь, а у него не получается. От испуга забыл, как летать. Наконец кое-как, боком, захлопал и поднялся. Еле поднялся... А я одна, представляешь? Я одна это видела, и никого рядом. Я просто умираю от смеха, и не с кем было поделиться. Раньше я совсем была одна, и меня мучило, что все, что я вижу, мне некому рассказать.

Но мы и сами бывали смешной парочкой. Так что вся улица оборачивалась. И все из-за Улиткиного вида. Как она одевалась! Она избегала того, что модно, а если и носила, то страдала от «собственного жлобства». Одежда ее представляла смесь ретро с авангардом. Юбки у нее были условные даже для эпохи «мини». Попросить ее одеться поскромнее, посдержаннее было нельзя – это тоже было бы воспринято как жлобство. Помню, в последних числах холодного марта, когда мы отправились на вечер балета в Мариинский театр, она выглядела так: трико изумрудного цвета, поверх трико на ногах сетчатые колготки – к трико в шкафу у нее ничего не нашлось, так как накануне она отдала все свои тряпки одной сорокалетней подружке, которая в роли невесты должна была предстать перед родителями своего жениха. Я было заикнулся, что можно было бы и объяснить подружке, что мы идем на балет, но Улитка возразила:

– Она бедная, она несчастная, она некрасивая. Она думает, что если все это наденет, то станет красивой. Я не могу ей отказать. А мне... мне ничего не нужно – я всегда найду, в чем пойти.

И поверх трико она надела пиджак малинового цвета, накинула подарок бабушки – лису, длиннющую чернубурку, которой, она уверяла, по меньшей мере лет пятьдесят, и потому она источает тепло. Все старые, точнее – старинные, вещи для нее источали тепло. Она считала, что, пожив в прошлом, они навсегда впитывали в себя бывшую жизнь. Новые вещи были для нее мертвы. На ногах у нее были черные полусапожки-полуботинки, сшитые на заказ. Признаться, мне пришлось набрать в легкие воздуху, когда мы вышли с ней на улицу, хотя на ее уверенное: «Ну как?» – я сказал: «Отлично!»

Я доверял ее вкусу и принимал в любом наряде, но я знал, что улица этого не примет. Однако Улитке на улицу было наплевать. Ради улицы она не поступилась бы ни одной из своих привычек. Высматривая такси, мы дошли до перекрестка, и все его углы как бы остолбенели. Я видел, как люди толкают друг друга и поводят подбородками в нашу сторону. Молодежь просто оборачивалась, мужчины смотрели, а тетки рвались в бой. Но рядом был я. Они глазели сначала на Улитку, а потом замечали, что она не одна, и мой вид сбивал их с толку: как-никак я тянул на «солидняка», а «солидняк» знает, с кем выходить на улицу. Тетки крепилась, но чувства их как сажа и пепел носились над их головами. Вражда к не такому, как все, – видом ли, мыслями – так долго у нас культивировалась, что жить ей еще и жить. На пути к перекрестку нам пришлось миновать компанию подростков-рокеров на мотоциклах. Я принапрягся, готовый к разборке, но подростки лишь проводили нас дружным молчаливым взглядом. Вот первое поколение терпимых. Их девиз – «Мы вас не трогаем, и вы нас не троньте» – кое-что да значил.

Ходили мы и в кино. В кинозале Улитка наклонялась ко мне, спрашивала, глядя на экран своими большими невидящими глазами:

– Что это за тетка?

– Это звезда, Сара Монтель. Помнишь, «Королева Шантеклера»?

– Неужели это она?

– Она.

– У нее жуткое туловище. И крестьянские руки. И спина как у лошади. Только лицо красивое...

Если даже фильм был совсем никуда, она все равно находила в нем что-нибудь забавное. Образования ей явно не хватало, но интуиция ей была дана из первых рук – прямо от Бога. Не помню случая, чтобы она клюнула на какую-нибудь туфту. Судила она жестче меня и менее была склонна прощать творцам их слабости.

– Он же художник, – говорила она, – он не имеет права потакать толпе.

На мой взгляд, работала она мало. Когда я говорил ей о фанатизме, об одержимости таланта, она отрицательно мотала головой:

– Нет, нет. Зачем?

– Но твой Врубель работал до иступления. Твой Ван-Гог...

– Потому они рано и умерли. Лень – это спасение. На самом деле это даже не лень. Я вот все время думаю. Тебе кажется, что я болтаю, суечусь, вишу на телефоне... А я думаю. Не напрягай меня, я чувствую, что ты начинаешь на меня давить. Я тогда еще больше суечусь, и толку мало... Ты ведь знаешь, я и без того суетное существо.

Картины у нее «доходили» – незаконченные, они висели месяц, два – и вдруг двигались дальше, то есть я вдруг замечал, что в них углубились, оказались прописанными новых два-три квадратных сантиметра. Она загоралась не от чувства, а от идеи, а это долгий путь. Я же норовил убрать подальше брошенный ею холст, где глаз радовал какой-нибудь живой кусок.

Лучшую свою картину она написала без меня и назвала «Чаепитие с китайским чайником». Улитка считала ее сюрреалистической, как и все, что она делала, но по мне это был реализм, как я его понимал. Улитка не мистифицировала, не занималась шаманством – она рассказывала о себе, а рассказ рассчитан на слушателя, то бишь, на зрителя, – иначе зачем

рассказывать? Картина раскручивалась по часовой стрелке от пупка – пупок обнаженной героини был центром. Сама героиня, естественно, была одним из Улиткиных взглядов на самое себя. В правой, гордой, согнутой в локте руке героиня держала на тонких извилистых пальцах блюдце с чаем. Сама она парила над или, точнее, за столом, как в балетном прыжке, подобрав под себя левую ногу, а нежно написанный пах и едва обозначенное лоно, похожее на вытянутую каплю, млели, истаивали в накаленном оранжевом сиянии. Справа от героини стоял китайский фарфоровый чайник в виде мужской головы с бледным одутловатым лицом, как будто уже виденным мною, – крышка от чайника была взвешена в другой руке героини, а изнутри катились клубы пара, полные видений. За героиней торчали горбыли забора, как в глубинке, и из его умбры проступали одно над другим два зверских сатанинских лица, третье же лицо было страдальческим лицом гуманиста, художника... впрочем, это могли быть три лица одного человека; а перед героиней на столе, на большом круглом блюде, лежали две головы, вернее, одна голова – лошади – отрубленная, но живая, с глазами, полными боли и ужаса: лошадь смотрела на собственный череп рядом. Были там еще какие-то призраки, и змеиная шея то ли лебедя, то ли павлина, то ли гуся, держащего в клюве яблоко. Но главным, если считать, что глаза лошади не главное, – главным было все-таки лицо героини, очень похожее на Улиткино, но, как всегда, с пустыми глазницами. Не было и правой щеки, а был скол ее, будто то было не живое тело, а его глиняное, полое внутри подобие, кукла... но и там пылало то же оранжевое снедающее пламя, заполняя и полости глазниц.

Так я пытаюсь описать образы картины, но как мне передать впечатление от нее, впечатление пройденного пути и утвержденного духа, впечатление преодоленного страдания и мужественного жеста? «Да, я так живу, – говорила ее героиня. – Это больно и мучительно, и хотя я очень боюсь боли, я сильнее ее...»

Другую свою картину она писала на моих глазах, так и не дописав... Она набросала композицию, которая, по ее утверждению, давно созрела в ней, не только созрела, но и мучила ее, однако после двух часов работы отложила кисти, с тоской посмотрела на холст и, взяв тряпку, о которую вытирают кисти, смазала написанное.

– Что ты делаешь?! – подскочил я. Мне нравилось, как она начала.

– Не то, не то! – простонала она.

Но стирала она не все подряд, а то, что меньше всего ее устраивало, стирала так, что после тряпки оставались странные разводы. Потом она сидела и вглядывалась в них.

– Смотри, – оживилась она, – вот женщина... Видишь ее фигуру? – и кистью показала женщину. – А вот еще одна. Только взгляд от нее. Смотри – вот ее глаза. А сзади чудовище... это монстр... он ее преследует... он хочет объясниться в любви. Видишь – рука его прижата к сердцу... А вот корабль. Нет, два корабля. А это... смотри, какой тут замечательный старик! Они все спешат куда-то, а ему все равно. Он отвернулся. Он знает, что все это суета. Он отвернулся от них и смотрит на нас.

– Это похоже на Ватто, на «Путешествие на остров Цитеры», – сказал я.

– Может быть. Но только чуть-чуть. У меня совсем другое. А вон там на краю мола стоит он – это, наверно, Христос. Как мера всего. Ему жалко их всех, в том числе и старика...

Так я тогда и не понял, что это было. Импровизация, возникшая из ничего, из нескольких ходов тряпки, что переплели первоначальных участников узлами новой интриги?

– А это что? – спрашивал я, показывая на гигантский цветок, огромный бутон, похожий на головку чеснока с плотно упакованными дольками-лепестками, из которых самые нижние превращались в черепа.

– Я все время вижу его во сне, этот цветок, он вырастает из волны и раскрывается, раскрывается... сотнями лепестков, по стеблю из воды он втягивает в себя жизнь и рассыпается на тысячи других жизней, а внизу они умирают... Ведь, знаешь, в каждом расцветшем бутоне есть сторона жизни и сторона смерти.

Но все это пока были лишь поиски в потемках, наугад. Ей был всего двадцать один год, и она не спешила, она была уверена, что все придет в свой час.

Я шутил, что стать настоящей художницей ей мешают ее ноги. Она никогда о них не забывала. Но и живопись не отпускала ее ни на миг. Даже в постели. Улитка жаловалась, что живопись мешает ей в любви, не дает расслабиться, тянет за собой, когда Улитке хотелось бы совсем в другую сторону. Чувственный импульс у нее шел через голову – для страсти она нуждалась в сильном впечатлении. А чтобы творить, ей были нужны экстремальные обстоятельства. Она должна была быть голодной, в комнате должен был быть кавардак, годилась и какая-нибудь крупная ссора с нужным человеком – вот тогда она работала от зари до зари. Благополучие, порядок ее угнетали. Чтобы вызволить творческий дух, надо было перекрыть кислород. Так и в любви. Чувство, чтобы разогреться, нуждалось в препятствиях. Ее подстегивала опасность, и, сказав по телефону приятелю-реставратору, чтобы тот брал такси и немедленно приезжал с ее отреставрированными стульями, она вдруг брала меня за руку и вела к постели. «Хочу к тебе. Хочу быть в платье». А потом говорила: «Как тепло... ты согрел меня изнутри. А платье, оно, знаешь, такое... оно меня возбуждало». Она была изощрена гораздо больше меня, несмотря на небольшой любовный опыт и на прохладность, которая еще не отступила в ней.

– Ты пробуждаешь во мне женщину, – говорила она. – Когда ты ее совсем разбудишь... – и повторяла: – У тебя нет конкурентов.

Вместо конкурентов были ее многочисленные приятели, некоторые даже старше меня. Из старших выделялся некто Дима, тот самый долговязый ее спутник на Университетской набережной, где мы случайно встретились. Специальность у него была скучная – чуть ли не инженер холодильной промышленности. Видно, он так там намерзся в молодости, что до сих пор никак не мог отогреться, и потому превратился в тихого алкоголика, служа лаборантом в одной из наших университетских лабораторий. Но это была лишь вывеска, потому что на самом-то деле Дима был миллионером. Как многие другие итээровцы с головой на плечах, он давно уже понял, что вкалывать за убогую инженерскую зарплату – это профанация всего доброго и вечного, к чему стремилась его замерзающая душа, а поскольку ко времени прозрения в нем неожиданно прорезалось и что-то вроде таланта, или, скажем, склонности, которую можно было бы назвать «вкусом к старине», то Дима и занялся коллекционированием, которое вскоре позволило ему освободиться от бремени пустопорожнего инженерства. Теперь у Димы была одна из самых крупных в городе частных коллекций интерьера Петровской эпохи. Мне дозволено было побывать в этом интерьере, и я был впечатлен. Впечатляло и то, что интерьер существовал не для отстраненного любования, а был средой Димино обитания, Диминого и нескольких его друзей, включая Улитку. Самой новой вещи там было не менее двухсот пятидесяти лет, но вглубь можно было забраться еще на два-три века, потому что, как справедливо утверждал Дима, Петровская эпоха при всей своей тяге к тому, что сегодня мы называем словом «перестройка», охотно вбирала в себя из прошлого то, что было наработано в других культурах, ну, скажем, вот этот венецианский деревянный стол из шестнадцатого века, на львиных ножках, с маскаронами и прочими резными деталями. Стол по причине своей неразъемной монументальности благополучно пережил суровые блокадные зимы в одной из коммуналок, куда он затесался из постреволюционных общественных фондов, возникших при экспроприации убранства дворцов и особняков.

...Все там было настоящее. В званые вечера гости сидели на петровских стульях, и долгий весенний свет стоял не в окне, а во вправленном в раму окна флорентийском витраже. Да, по отечественным меркам Дима был богат, но оставался несчастен. Для несчастья было несколько причин, и одна из них – та же коллекция, предмет его гордости, знак его статуса. Коллекция была смыслом и целью его жизни, но, как всякая материальная цель, она, будучи достигнутой, вдруг как бы перестала греть. Вдруг обнаружилось, что мечты больше нет, а

вместо былой сладкой дрожи собирания осталась только привычка менять одно на другое, хорошее на лучшее; обмен, конечно, увеличивал сумму на сберкнижках и доход с суммы, на что Дима и жил, как рантье, но для человека искусства, каковым Дима давно себя считал, этого, конечно, было мало. Времени же и сил, чтобы приподнять еще какой-нибудь золотосный пласт прошлого, уже не оставалось. И все реже и реже Дима бывал трезвым.

Видимо, богатство пришло все-таки слишком поздно и никоим образом не повлияло на фантастическую Димину скупость, оправданную разве что нищим голодным студенчеством и блокадным детством, – в быту он по-прежнему побирался, в компании в минуту платежа никогда не вынимал кошелек и предпочитал залезть в долги, чем в сберкнижку. Долги он, правда, отдавал.

Для выгодной перепродажи или обмена он пользовался разными приемами: ну, скажем, он ставил вещь, которую собирался сплавить, в свой интерьер и приглашал покупателя. В Димином интерьере любая вещь играла. Или же – приобретенное по дешевке он отдавал на реставрацию. Главным его реставратором была Улитка. Она работала или за спасибо, точнее, за право быть в Димином кругу, или за крохи с барского Диминого стола. Но и у нее была своя корысть – научиться у Димы тайнам профессии. Она прекрасно понимала, что Дима на ней наживается, но мирилась с этим, терпеливо ожидая, когда придет ее собственный час. И все-таки приходилось держать с ним ухо остро, так как у Димы всегда была тысяча способов ее надуть. Скажем, когда Улитка уже заканчивала реставрацию очередной вещицы, он звонил ей и провоцировал ссору, ожидая, пока Улитка не крикнет в сердцах: «Дима, забирай свое барахло! Не хочу тебя больше знать!» Он тут же прикатывал и забирал свое – оскорбленно и... бесплатно, а затем, через неделю, зная отходчивость Улитки, звонил с очередной приманкой. Иногда эти сцены происходили на моих глазах.

– Да я все понимаю! – останавливала меня Улитка, когда я пытался вразумить ее. – Дима жлоб и жлобом умрет. И мне жалко, что он такой жлоб. Он, конечно, страдает от жадности, но еще больше он страдает, что я не такая, как он. Он был бы счастлив узнать, что я его тоже надула. В глубине души он считает себя лучше всех. Но я ему все прощаю, потому что он талантлив, он считается одним из самых талантливых ленинградских коллекционеров.

Я не очень понимал, что в данном случае вкладывалось в понятие «талант», – не способность же делать деньги буквально из ничего, из содержимого ленинградских помоек. Нет и нет. Ведь получалось, что он, Дима, возвращает этому содержимому прежнее, давно изжитое жизнью значение, соединяет это изжитое в цепочку, которой огораживает лоскуток пространства, где будто сами собой вдруг начинали оживать тени давно минувшего...

В университетской лаборатории Дима, естественно, только числился. За него его обязанности исполнял кто-то другой, Дима же проводил свободное от коллекционирования время в барах. Начинал он с плавучего «Паруса» возле Петропавловки, потому что жил неподалеку, затем троллейбус переносил его на Невский, где Дима спускался в бар Дома журналиста, а затем поднимался в буфет ВТО, каждое из этих мест отмечая двумя-тремя порциями коньяка, так что к «Сайгону» он уже подходил в приподнятом состоянии, где и «снял» время от времени девочек; в его вкусе были пятнадцатилетние, и он хвастался перед Улиткой и этой своей коллекцией.

– Ему не нужны девочки, – смеялась Улитка, – он импотент.

IX

У нее была мечта – говорящий попугай. «Когда ты поедешь за границу, обязательно привези мне». Но ждать было долго, поэтому она заявила, что хочет не попугая, а лемура, и тут же нарисовала его, благо художница. Затем идея слишком уж «гуманоидного» лемура сменилась мечтой о лисенке, которого она сама воспитает, и я, втайне не разделяя ее желания иметь друга, кроме меня, мрачно сказал:

– Его растерзают собаки.

– Почему? Я буду держать его в квартире, а прогуливать на поводке.

– Все равно растерзают – ты даже не успеешь оглянуться. Зачем его мучить? Лис должен жить в лесу. Заведи лучше собаку.

– Собаки – они слишком преданные, они рабы. Они зависят от человека, а лиса независимая, – и моя подружка тут же нарисовала независимую лису. Лиса была женского рода, чтобы я не ревновал.

– Кошки тоже независимые, – сказал я, но она только покачала головой. И вдруг, вся просияв, заявила: – Я придумала! Мне нужно просто купить три чучела: попугая, лисы и лемура. Ты не знаешь, где их можно купить?

Но и тут я остался верен себе и пробурчал:

– Зачем? Одно чучело у тебя уже есть.

Идея иметь при себе постоянное, верное, но безответное существо, на роль которого не годились ни я, ни ее деловые приятели-коллекционеры, ни часто меняющиеся подружки, однажды воплотилась в лягушачьей парочке. Я пришел как раз, когда Улитка готовила жилье для своих новых холоднокровных друзей. Жилье представляло собой огромный горшок из толстого прозрачного зеленоватого стекла, внутри горшка стояла наполненная водой одна из Улиткиных самодельных вазочек в стиле модерн, выкрашенная ярко-зеленой нитроокраской; возле вазочки, видимо для интерьера, Улитка положила огурец, разрезанный вдоль. Огурец был молодой и пупырчатый и походил на дальнего родственника новоселов.

– Только я пока не могу брать их в руки, – пожаловалась она. – Помоги мне. Осторожней! Они ужасно прыгают. Самец у меня уже выпрыгнул на сковородку, хорошо, что я ничего не готовила.

Я перенес холодных противных лягушек из пол-литровой банки в стеклянный горшок, и Улитка торопливо накрыла его альбомом Тинторетто. Она хотела накрыть куском оконного стекла, чтобы все видеть, но я боялся, что она обязательно поранится по близорукости, и настоял на безопасной крышке.

– Ладно, – уступила она, что бывало редко. – Пусть приобщаются к искусству.

Я уже не спрашивал, зачем вся эта затея, и не призывал к ответственности за земноводных. Я не был уверен, что мы несем моральную ответственность за тех, кого нельзя приручить. К тому же Улитка объяснила, что взяла их по протекции Димы из университетской лаборатории, где над ними проводят всякие мерзкие опыты и где лаборанты в обед готовят себе на спиртовках жаркое из лягушачьих лапок.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.